

вопрос о счастливице. Счастье одного человека (чьим бы оно ни было и что бы под ним ни понимать, хотя бы и борьбу за всеобщее счастье) еще не разрешение вопроса, так как поэма выводит к думам о «воплощении счастья народного», о счастье всех, о «пире на весь мир». Последние стихи — «песни» поэмы — стихи лирические, но такие, которые могли возникнуть лишь с опорой на могучий народный поэтический эпос. Многие в этих стихах идет от надежды, от пожелания, от мечты, но такой, которая находит реальную опору в жизни, в народе, в стране — Россия. Эпопея в самой себе несет разрешение.

«Кому на Руси жить хорошо?» — поэт задал в поэме великий вопрос и дал великий ответ в последней ее песне «Русь» —

Ты и убогая,  
Ты и обильная,  
Ты и могучая,  
Ты и бессильная,  
Матушка-Русь!

В рабстве спасенное  
Сердце свободное —  
Золото, золото  
Сердце народное!

.....  
Встали — небужены,  
Вышли — непрошены,  
Жита по зернышку  
Горы наношены!

Рать подымается —  
Неисчислимая,  
Сила в ней скажется  
Несокрушимая!

.....

### «Пушкинское» стихотворение Некрасова.

#### «Элегия»

«Пушкинский» характер знаменитой некрасовской «Элегии» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), отмечен давно. Так, В. В. Гиппиус, указав в стихотворении Некрасова на ряд близких пушкинской «Деревне» строк, заявлял, что Некрасов «явно стилизует свою «Элегию», выдерживая ее в архаическом стиле 10—20-х годов, возвращаясь к александрийскому стиху, не тронутому им с 1851 года и даже прямо — возможно даже

сознательно — воспроизводя пушкинские поэтические формулы:

...Увы! пока народы  
Влачатся в нищете, *покорствуя бичам,*  
Как *тощие* стада, по скошенным лугам,  
Оплакивать их рок, служить им будет муза.

В «Деревне» Пушкина:

Склонясь на чуждый плуг, *покорствуя бичам,*  
Здесь рабство *тощее* влачится по браздам  
Неумолимого владельца.

(Курсив мой. — В. Г.)<sup>1</sup>

М. М. Гин, присоединившись к В. В. Гиппиусу, дополнил его наблюдения, совершенно справедливо соотнеся последнюю часть «Элегии» с пушкинским «Эхом». «Важно учитывать смысл этого обращения к Пушкину, — пишет Гин, — Некрасов здесь средствами стиля подчеркивает, что со времен Пушкина в «судьбах народных» не произошло существенных изменений к лучшему...»<sup>2</sup>.

Думается, однако, что пушкинское начало стихотворения не ограничивается лишь «средствами стиля» и уж тем более не остается стилизацией. Значение такого пушкинского начала «Элегии» в очень многообразных, действительно вплоть до прямого заимствования, его проявлениях можно понять, лишь учитывая то место, которое занимает Пушкин в поэтическом мироощущении Некрасова в эту пору.

Как правило, Пушкин приобретает особое значение для Некрасова на решающих этапах его поэтического самоутверждения. Так было в 50-е годы. Недаром в то время рождались стихи, которые обычно квалифицируются как стихи о поэте и поэзии и которые понимаются скорее лишь как декларации, а не как свидетельство часто мучительных поисков самоутверждения. Незыблемое возвращение к Пушкину при этом, очевидно, оказывается внутренне необходимым. И недаром стихи этого плана, от «Музы» до «Поэта и гражданина», обычно проникнуты реминисценциями из Пушкина, без которых Некрасов не может обойтись, служат ли они

<sup>1</sup> Гиппиус В. В. Некрасов в истории русской поэзии XIX века. — В кн.: Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М. — Л., 1966, с. 236.

<sup>2</sup> Гин М. М. От факта к образу и сюжету. М., 1971, с. 168—169.

сами предметом полемики или оказываются в полемике бесспорным авторским аргументом.

И вот на новом этапе, с середины 70-х годов, снова появляется группа стихов о месте поэзии, о предназначении поэта, о собственном творчестве («Поэту (памяти Шиллера)», «Музе», «Поэту»). И опять Пушкин помогает поэтически ориентироваться и самоукрепляться.

Стихотворение «Элегия» явно полемично. М. М. Гин указал как на предмет полемики на лекцию о Некрасове, прочитанную весной 1874 года Орестом Миллером: «Орест Миллер в 1874 году в одной из своих публичных лекций о Некрасове истолковал его обращение к декабристской тематике как выход «на новую дорогу», как отказ от изображения народа. Либеральный профессор одобряет этот якобы новый путь, исходя из следующих соображений: «То, что составляло его любимую тему, — непосредственное описание страданий народа и вообще бедняков, — уже им исчерпано не потому, чтобы подобная тема сама по себе когда-либо могла быть вполне исчерпана, а потому, что поэт наш стал как-то повторяться, когда принимается за эту тему». Есть основания полагать, что именно эти слова послужили первотолчком к созданию «Элегии», которая начинается полемикой с ними»<sup>1</sup>.

Дело в том, однако, что Некрасов не столько опровергает здесь Ореста Миллера, сколько к нему присоединяется.

Пускай нам говорит изменчивая мода,  
Что тема старая — «страдания народа» (II, 392), —

писал поэт.

А вот что говорил и писал «либеральный профессор»: «...основная тема Некрасова оказывается далеко не отжившею и с уничтожением крепостного права. Тема эта — трудовая, в безысходности труда изнывающая жизнь крестьянина — отживет, конечно, еще не скоро... Потому-то всю свою силу сохраняет «Несжатая полоса» или «Калистрат»<sup>2</sup>.

Таким образом, Орест Миллер уж никак не говорит о «страданиях народа» с позиций «изменчивой моды»

<sup>1</sup> Гин М. М. От факта к образу и сюжету, с. 166—167.

<sup>2</sup> Публичные лекции Ореста Миллера. Русская литература после Гоголя (за исключением драматургической). 10 лекций. СПб., 1874, с. 108.

и даже, несколько нативно, рекомендует поэту ближе стать к народной жизни. Видимо, социальный полемический адресат Некрасова более неопределенен, но более широк и явно более значим.

Тем не менее в лекции Миллера действительно есть ряд моментов, кажется нашедших отзвук в стихотворении Некрасова, и связаны они опять-таки с проблемой Пушкина.

Дело в том, что, подобно многим тогда, — и противникам Некрасова, и сочувствовавшим ему, — Орест Миллер рассматривал Некрасова только как поэта идущего от Гоголя «нравоописательного направления» и потому же — решительно противопоставил его Пушкину.

Вопреки этому Некрасов и выводит в «Элегии» свою поэтическую родословную из Пушкина, не декларируя ее, а подтверждая всем строем своих «пушкинских» здесь стихов, вызывая многочисленные ассоциации, связанные именно с пушкинской поэзией.

Стоит вспомнить в связи с этим, что «Элегия» создавалась в одно время со стихами цикла «Ночлеги» (лето 1874 г.), содержащими конкретные зарисовки народной жизни и народных типов (1. «На постоялом дворе». 2. «На погорелом месте». 3. «У Трофима»). Кстати сказать, по сути они оказались в лирике Некрасова последними стихами такого рода. «Элегия» по отношению к ним приобрела характер своеобразного резюме, поэтического обобщения, вывода, данного в закрепленных, но уже высокой поэтической традицией, формулах. В «Элегии» Некрасов уходит от быта, от «непосредственного описания страданий» народа, чтобы с тем большей силой подтвердить правоту поэзии, посвятившей себя страданиям народа. Он ищет высоких поэтических санкций для такой поэзии и находит их — у Пушкина. Старая, как будто бы архаизированная, освященная давностью времен форма оказывалась точно соответствующей «старой теме», вечному вопросу — о «страданиях народа».

Начало стихотворения сразу, уже в черновике, определилось как полемическое:

Старо, не правда ли, печь хлебы из муки?

Однако ж из песку, попробуй, испеки! (II, 604)

Оно возвращало к давнему некрасовскому же прозаическому тексту: «Очень однообразная вещь — печь

хлеб все из муки да из муки; он даже не всегда и удаётся — однако ж — никому не приходит в голову начать печь его из песку» (Заметки о журналах за октябрь 1855 года) (IX, 339).

Как видим, такой текст, даже будучи зарифмован, оставался, в сущности, прозаическим, приобретая к тому же характер притчи с ее двусмысленностью, завуалированностью, экивоком, столь чуждыми предельно откровенному, исповедальному духу стихотворения, его открыто декларативному пафосу.

Ставшее окончательным полемическое вступление «Элегии»:

Пускай нам говорит изменчивая мода...

Некрасов нашел, возвратившись к одному из старых своих стихотворений:

Пускай мечтатели осмеяны давно...

Однако в 1846 году этот «классический александриец в традиционном пушкинском стиле»<sup>1</sup> выступал совсем в иной функции. Там он был знаком поэзии, которая противопоставлялась «нравоописательной» поэзии, трезвому взгляду на мир, столь характерному для открытого тогда Некрасовым поэтического направления. Теперь же пушкинское начало принимается и включается демонстративно и подчеркнута в новую идеологическую и художественную систему.

Первый ряд таких пушкинских ассоциаций действительно связан с «Деревней». Можно сказать, ими проникнута буквально все стихотворение. Кроме отмеченных Гиппиусом, укажем еще на ряд формул и мотивов.

Пушкин: «Сей луг, *установленный* душистыми скирдами...»

Некрасов: «По нивам, по лугам, *установленным* стогами...»

Стихи: «На сельские труды зову благословенье,

Народному врагу проклятие сулю» —

есть не что иное, как программа пушкинской «Деревни» с ее pro и contra, «карамзинской» идиллией и «радищевскими» обличениями. Да и в некрасовской «Элегии» явственно различимы также две части, негодующая и идиллическая. К тому же характер «идиллии»

<sup>1</sup> Эйхенбаум Б. М. Некрасов. — В кн.: О поэзии. Л., 1969, с. 56.

поддержан традиционным, заставляющим вспомнить поэзию уже не только Пушкина, но и Жуковского и совершенно условным образом «певца»:

Внимаю ль песни жниц над жатвой золотою,  
Старик ли медленный шагает за сохою,  
Бежит ли по лугу, играя и свистя,  
С отцовским завтраком довольное дитя..

.....  
Уж вечер настает. Волнуемый мечтами,  
По нивам, по лугам, уставленным стогами,  
Задумчиво брожу в прохладной полутьме,  
...И песнь сама собой слагается в уме..  
И песнь моя громка!..

Наконец, пушкинской неудовлетворенности — призна-  
нию:

Почто в груди моей горит бесплодный жар  
И не дан мне в удел витийства грозный дар? —

соответствует горечь некрасовских стихов:

Я лиру посвятил народу своему.  
Быть может, я умру, неведомый ему...

Но почему же поздний Некрасов обратился в «Элегии» к «Деревне» раннего Пушкина? Потому, конечно, что в «Деревне» говорится о страданиях народа. Но не только. А и потому, как говорится о таких страданиях.

«Прислал ли я тебе «Деревню» Пушкина, — писал А. И. Тургенев князю П. А. Вяземскому в августе 1819 года, — есть сильные и прелестные стихи, но и преувеличения насчет псковского хамства»<sup>1</sup>. Еще бы. Конечно, преувеличения. Нет ничего наивнее, чем пытаться рассматривать пушкинскую «Деревню» как некую реальную картину русской крепостной деревни. Сам Пушкин, как бы предупреждая подобные попытки, сразу же дал и определение, и оправдание своего здесь «метода»!

Но мысль ужасная здесь душу омрачает...

Мысль! Вся последующая часть написана в манере очень условной, одической, в манере высокого витийства.

Указания на те или иные впечатления, которые, вероятно, стояли за стихами Пушкина, приобретают цен-

---

<sup>1</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1889, т. I, с. 29.

ность комментария, но ничего не раскрывают в самих этих стихах.

«Дворовые толпы» — единственная примета русской жизни. И, может быть, еще — «барство дикое». Не это ли определение авторизовал в сказке «Дикий барин» Щедрин? В остальном это столько же русская деревня, сколько и африканская плантация. Некая отвлеченность — «рабство тощее» — символ, аллегория. Некое обобщение: угнетатели и угнетенные, господа и рабы. Силы стихотворения это ничуть не ослабляет. Наоборот. Вот почему в 1874 году Некрасов, к этому времени, кажется, уже вдоль и поперек исписавший русскую деревню, обратится к стихотворению молодого Пушкина и прямо воспользуется пушкинскими образами:

Увы! пока народы  
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,  
Как тощие стада, по скошенным лугам...

Именно такая предельная концентрированная обобщенность (потому-то у Некрасова появится не «народ», — а «народы», в окончательном тексте исчезнет еще в черновиках названная Волга) и давала негодованию силу, и эту силу оправдывала.

Есть и еще одно обстоятельство, обусловившее обращение зрелого Некрасова к юному Пушкину. Некрасовская «Элегия» обращена к молодежи<sup>1</sup>: «Не верьте, юноши!» А если попытаться определить, как говорил Белинский, «пафос» стихотворения «Деревня» одним словом, это будет — молодость. В «Деревне» можно найти традицию, которая связана с литературой XVIII века. Она прослеживается и в категоризме суждений, и в предельности оценок, и в четком делении на белое и черное, на доброе и злое. Однако выступает все это уже в ином, чем в XVIII веке, качестве: такой категоризм не столько выражение рационалистических представлений с их тягой к строгой нормативности, сколько результат обнаружения молодого страстного чувства, не признающего полутонов, рубящего сплеча, знающего только «да» и «нет», безоглядно приветствующего и столь же безоглядно отрицающего. Читавший «Дерев-

---

<sup>1</sup> Хотя, я думаю, замечание М. М. Гина, что призыв «Не верьте, юноши!» опять-таки направлен против лекции Ореста Миллера, тоже якобы обращенной собственно к молодежи, в известной мере корректируется: ведь Миллер читал свои лекции в Санкт-Петербургском собрании художников.

ню» Владимир Яхонтов точно ощутил «пафос» стихотворения: так форсированно, так напряженно его чтение, такой «жар» (дважды употребленное Пушкиным опорное здесь слово), такую полноту самозабвенного молодого негодования оно несет.

Но «Элегия» соотносится не только с «Деревней». Сама пушкинская «Деревня» включена Некрасовым в иной поэтический ряд, в иную художественную систему — не некрасовскую только, но в иную, пушкинскую же.

Я уже отметил, что классический пушкинский александриец выступает ныне у Некрасова в качестве ином сравнительно со стихами 1846 года «Пускай мечтатели осмеяны давно...». И дело здесь не только в Некрасове, но и в Пушкине. «Элегия» выдержана не столько в «архаическом стиле 10—20-х годов», сколько в стиле и в духе пушкинской поэзии 30-х годов, точнее 1836 года. Некрасовская «Элегия» написана размером, которым были написаны почти все, как оказалось, итоговые пушкинские элегии — медитации этого времени: «Мирская власть», «Из Пиндемонти», «Отцы — пустынноики и жены непорочны...», «Когда за городом задумчив я брожу...» и другие. «Элегия» Некрасова, обратившись к «ранней» пушкинской «Деревне», включила ее в систему лирики глубокого раздумья, характерную для позднего Пушкина, в свою очередь становясь этапным и как бы итоговым для Некрасова произведением.

Таким образом, «Элегия» во многом представляет сложную реконструкцию разнообразных пушкинских стихий и мотивов, которая, впрочем, оказывается под силу уже лишь зрелому Некрасову.

Но Некрасов не только наследует Пушкину, но и продолжает его и полемизирует с ним: и с Пушкиным молодым, и с Пушкиным зрелым.

По сути, с вопросом

И рабству долготу пришедшая на смену  
Свобода, наконец, внесла ли перемену?..

Некрасов возвращался к пушкинскому вопросу

Увижу ль, о друзья! народ освобожденный  
И рабство, падшее?..

Пушкинский вопрос, впрочем, был не столько вопросом, сколько восклицанием, пожеланием, призывом. Некрасовский вопрос здесь тоже в самом себе уже

заключает и ответ. Однако в целом некрасовское произведение сравнительно с «Деревней» в гораздо большей мере произведение вопросов и раздумий — «элегия».

Потому-то и гневная инвектива, бывшая у Пушкина в «Деревне» второй частью, стала у Некрасова первой, а собственно «размышление», заключенное в рамки пейзажной «идиллии», — второй.

Потому-то, возвращаясь к образу поздней лирики Пушкина, к образу эха, Некрасов его переосмысливает:

И песнь моя громка!.. Ей вторят доли, нивы,  
И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы,  
И лес откликнулся... Природа внемлет мне...

Соотнесение образов «Элегии» с пушкинской «Деревней» помогало установить связь времен, а «Эхо» Пушкина стало фоном, который во многом позволил Некрасову, подтверждая такую связь, четко выявить место именно его, некрасовской, прямо взывающей к народу поэзии, раскрыть ее социальный и художественный драматизм:

Но тот, о ком пою в вечерней тишине,  
Кому посвящены мечтания поэта, —  
Увы! Не внемлет он — и не дает ответа...